

**ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ПОЗНАНИЯ:
ВЫЗОВЫ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ.
БЕСЕДА В.Ф. ПЕТРЕНКО И В.З. ДЕМЬЯНКОВЫМ**

Введение

Владимир Авдонин (В.А.): Мы планируем включить материал нашей беседы в ежегодник МЕТОД. Это будет один из материалов этого сборника, который посвящен трансдисциплинарности в науке. Вообще у трансдисциплинарности выделяются два аспекта. Первый – трансдисциплинарность в науке, т.е. взаимодействие дисциплин на основе разных синтетических методов, подходов. И второй – трансдисциплинарность как транснаука, т.е. то, что выходит за пределы науки, как взаимодействие науки с околонаучной сферой, с так называемой паранаукой, или с любительской наукой, как сейчас ее называют. Недавно у нас в отделе науковедения в сборнике была статья о «гаражной науке», когда любители занимаются наукой в гаражах и т.д.

Иван Фомин (И.Ф.): Нас больше первый интересует.

В.А.: Да. Нас интересует первый, поэтому этот выпуск будет посвящен именно трансдисциплинарности в науке.

Михаил Ильин (М.И.): Вообще мы начали с того, что смотрели, какие нетривиальные вещи можно методологически сделать. В результате вырулили на проблематику трансдисциплинарности. Сейчас нас больше всего занимают потенциальные трансдисциплинарные методологии – органоны-интеграторы, так мы их назвали. Нас интересует даже не просто наука, нас интересует в ней только то, что касается метода. Сначала у нас было немало претендентов на статус таких органонов. Примерно полтора десятка. В том числе, кстати, очень долго среди них была когнитивная наука. И она в каком-то смысле остается. Но когнитивная наука сама по себе создана соединением разных наук и традиций, разных подходов и методов. Она не едина. В ней сосуществуют принципиально разнородные версии. В конце концов мы остановились на трех других претендентах. Это математика, морфология и семиотика. Но это не значит, что вопрос

закрыт. Тут многое нужно подвергнуть сомнению и не раз проверить. Но самое-то интересное – почему мы вас хотим попытать – у нас такое есть предположение, что эти методы вырастают на базе каких-то фундаментальных, первичных человеческих особенностей, интеллектуальных, естественно. И найти следы этих способностей и установить связь между этими способностями и методами в современной науке без экспертизы со стороны психологов и лингвистов совершенно невозможно, потому что именно вы соприкасаетесь с этими фундаментальными вещами. У нас есть фантазии, которыми мы готовы поделиться в ходе беседы, но для начала...

В.А.: Вы сейчас здесь находитесь в статусе представителей когнитивной науки. Хотя она и междисциплинарная и дробная, но тем не менее крайне созвучна всему пафосу деятельности нашего центра.

О передаче смыслов и состояний

Виктор Петренко (В.П.) Могу рассказать, чем сам занимаюсь, обо всей когнитивной науке говорить не берусь. В числе подготовленных к беседе был вопрос про Келли и Рубинштейна...

И.Ф. Да, мы его сформулировали так: можно ли эволюцию познавательных способностей человека связать с принципом единства сознания и деятельности (по Рубинштейну) или принципом Келли («поведение субъекта канализируется по руслу тех конструктов, в рамках которых происходит антиципация событий»)?

В.П. Это как раз имеет отношение к тому, чем я занимаюсь, к психосемантике. Ее истоками можно считать работы Чарльза Осгуда, Джорджа Келли и вообще разработку известного метода семантического дифференциала. Сам по себе он довольно прост, даже примитивен. Он возник как побочный продукт исследования синестезии. Синестезия – это феномен кросс-модальных соотношений, когда какая-нибудь стимуляция, например зрительная, поступает не только туда, куда и должна попасть, – в проекционные зоны мозга, например в 17-е и 18-е поля Родмана в затылочной части, – но и в другие зоны. Она также стимулирует запахи, зрение, звуки, тактильные переживания. Отсюда возникают такие словосочетания, как «бархатный голос» или «кислая физиономия», хотя мы ее на вкус не пробуем. Происходит описание качества одной модальности в категориях другой. Мозг как бы стремится на основе восприятия одного качества реконструировать целостный парамодальный мир.

Когда Осгуд начал свои исследования, он брал бинарные шкалы, например «тяжелый – легкий», «большой – маленький». Несколько сот шкал использовалось. Да и объекты у него были самые разные. Скажем, камешек падает в воду, издает звук «буль», этот «буль» фиксируется на шкале. Или звук быстрый или медленный, приятный или неприятный, активный

или пассивный и т.д. Потом берется, например, какое-нибудь ощущение от прикосновения к какой-то поверхности. Это ощущение тоже шкалируется. Дается красный цвет, тоже шкалируется. Соединяются разные переживания по множеству шкал – получается матрица. Затем анализ выделяет три базовых фактора: оценка, сила, активность.

Похоже, но иначе выстроена теория эмоций Вильгельма Вундта. Он тоже выделял три фактора из самонаблюдений: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – расслабление. Очень похоже. Получается самая простая категоризация мира... Ползет какой-то такой червячок, столкнулся с преградой – переживание: больно, не больно, можно ли съесть... Самые простые категории эмоционального переживания. Но это универсально в разных языках выделяется. Я думаю, что эти три базовых фактора выделились бы и на животных.

В.П. Мы, например, брали оппозицию рисунков Чюрлёниса, у него есть «Времена года». И вот даешь какой-то стимул: он ближе к этому рисунку или к тому? Можно невербальный стимул задать, можно тогда создать, например, музыкальный дифференциал. Все что хотите, самое разное. Не обязательно слово. Так вот, Осгуд брал объекты не только широкого класса – запах, вкус, цвет, поверхности, звук, – но и узкие классы, например абстрактные картины. Потом индивидуальные матрицы факторизовались. И если у людей с улицы, случайных людей получалось один-два фактора всего, фактически «нравится – не нравится», то у профессиональных художников выявлялось семь-восемь факторов. Получается, что размерность семантического пространства зависит от сложности психики, от знания субъектом данной содержательной области. Уточню, что в принципе три фактора отнюдь не универсальны. Они могут и склеиваться, и распадаться. Это уже зависит от содержательной области.

М.И. Это уже дальше. А при упрощении именно три получается?

В.П. Можно при упрощении вообще один даже получить. Приятно – неприятно. Но, в принципе, когда объекты достаточно различные, получают три фактора. Джордж Келли фактически использовал ту же самую процедуру шкалирования и факторный анализ, но уже для других задач. Любопытно, что последователи Осгуда никак не ссылаются на Келли, а последователи Келли никак не ссылаются на Осгуда. Как бы разные реальности, хотя методики практически близки.

Келли занимался рациональной психотерапией. Ему было важно исследовать, что меняется в картине мира пациента в ходе психотерапии. Он пошел дальше. В каком смысле? Он не брал шкалы из антонимов английского языка, а вначале придумал процедуру триадического выбора. Вот сидим мы все здесь, можно составить тройки: Миша, Валера, я. Надо по какому-то качеству объединить двух из трех и притом исключить третьего. То есть шкалы не задаются априори, а вытаскиваются из менталитета. И таких триадических выборов множество, та же матрица, та же фактори-

зация. Это лучше, чем у Остуда, тем, что основано на языке самих пациентов, испытуемых.

Но это все истоки, классика. Отталкиваясь от нее, я строил и невербальные дифференциалы, основанные на графических оппозициях. Таким образом удалось представить, например, сематическое пространство политических партий. В 1990–1991 гг. мы брали для этого не антонимы, а высказывания политических лидеров, фрагменты Конституции, декларации и т.д. Получалось несколько сот выражений. Испытуемых оценивали по принципу «согласны – не согласны». Суждения были самые разные. Выводить войска из Европы или не выводить? Можно ли обладать каким-то производством, где работают не только члены семьи? Должны ли республики обладать своими армиями? Это было тогда актуально. Несколько сот суждений. И мы получали матрицы и обрабатывали их.

Мы начали исследование политических партий в 1990 г. Тогда впервые стало возможно такой тематикой заниматься. Раньше можно было бы заработать большие неприятности. Но тут уже не до нас было. И вот у нас получились, в частности, четыре фактора. Если в 1990 г. самым мощным фактором было принятие коммунистических движений, коммунистической идеологии, то уже в 1991 г. это ушло на второй план, а на первое место вышел фактор интеграции / дезинтеграции Советского Союза. Пространство стало уже четырехмерным. В 1993 г. оно стало шестимерным, произошло дальнейшее усложнение. Сейчас же произошло колоссальное уплотнение политического менталитета.

Можно построить и иное сематическое пространство – качество жизни при разных правительствах. Тут тоже возникает интересная динамика. Или то же самое сделать в плане искусства, восприятия фильмов, картин. У меня цикл работы есть по картинам, по фильмам. Например, после просмотра фильма выделяешь на испытуемых конструктор, который они оценивают, и сами пространства.

Отчасти это похоже на изучение физиками двух частиц. Если ты узнаешь характеристики одной частицы, ты автоматически узнаешь и о другой тоже... А узнаешь – в каком смысле? По Гейзенбергу, они не существуют как реальные признаки, они появляются только в процессе измерения, но одновременно. При этом невозможно передать информацию мгновенно. Через миллионы километров. Тут какая-то другая форма, даже не знаю, что это, не информация, а иная форма устройства мира, связанная с нелокальностью бытия. Получается, что любое воздействие в любом конце Вселенной имеет отзвук во всей системе. Все представляется сплетенным в колоссальный клубок. Нелокальность бытия – это одна из таких базовых идей квантовой физики. И она очень близка к устройству коллективного бессознательного, со всеми телепатическими переживаниями состояний. Когда мать вдруг хватается за сердце: ребенок, на несколько тысяч километров от нее отделенный, в опасности. Проводились простые исследования, когда, например, мышат одного помета (это фи-

зоологи проводили), отвозят на большое расстояние, начинают уничтожать часть их собратьев, а другие чувствуют... Тут какая-то иная форма связи...

О природе когнитивной связи

В.А. Получается, это не информационная связь.

В.П. Не информационная. Другая.

В.А. Или это превращенная какая-то форма информации?

И.Ф. В случае с частицами одно из объяснений, как я понимаю, состоит в том, что информация движется в противоположном направлении во времени. То есть когда мы зафиксировали определенное состояние одной и разделенных частиц, единая еще частица в прошлом узнает, каким будет будущее состояние ее частей. К ней информация поступает из будущего.

В.П. Непонятно. Во-первых, информация предполагает дискретную череду элементов, знаков, битов. Тут же передается целое состояние. Сразу и во времени, и в пространстве.

Налимов выделял жесткие и мягкие языки. То есть какие-то математические преобразования – в жестких языках. А для работы с символами, сновидения, всякими аналогиями, метафорическими переносами – мягкие языки. Они ближе к инициальному бессознательному, которое изучает психоанализ... Кстати, влияние психоанализа по крайней мере на ту школу, к которой я принадлежу, на школу Выгодского – Леонтьева, очень велико. Первая работа Лурии называлась «Психоанализ как марксизм психологии», а Леонтьев начинал с опыта цепных ассоциативных рядов. Влияние Фрейда было огромно, но просто не принято было это афишировать.

М.И. Да, официально считалось, что общественная культурная сфера, сознание, деятельность детерминированы трудом.

В.П. Все это демагогия, надо сказать. И не так давно у нас был круглый стол по вопросам философии, посвященный Выготскому. И там Саша Асмолов вспомнил, что Леонтьев в частной беседе рассказывал, как он летел на самолете во время войны. Их атаковал какой-то немецкий истребитель. И тут у него произошел выход сознания из тела. Он себя увидел со стороны. На лекциях он ничего такого не рассказывал.

Так вот, я знаю нескольких людей, которые переживали выход из тела. Один из них созерцал собственное тело со шкафа и увидел запыленную книжку на шкафу. Прочел название, а после того как вернулся в тело, быстро побежал и проверил. Оказалась та самая книжка. Вещи, конечно, единичные. И, кстати, вот тут начинается проблема, интересная для осмысления. Вся наука касается повторяющихся событий. Отсюда возможны законы. В психологии изучается неповторимое. Тут нет законов. Есть психофизические законы, но это уже на уровне организма. И то плюс-

минус. А вот единичные события, которые для нас тоже очень важны, сами себе закон. Фрейд не открывал каких-то новых законов – типа сверхтекучести, как в физике, или радиоактивного распада. Он брал хорошо знакомые вещи: сексуальность, сны и т.д. – и давал иную интерпретацию. А каково влияние Фрейда на культуру? Чем больше мы работаем в мягких языках, тем больше акцент падает на какую-то герменевтику, на интерпретацию, в этом смысле даже и семиотику.

И еще одну тему затрону. Возьмем буддизм. Человек приходит к какому-то учителю, он там пару лет дрова колет, воду носит. Со стороны можно подумать, что это некая форма эксплуатации учителем ученика. На самом деле идет интерфаксация с образом, с личностью учителя. И это не есть прямая передача знаний, но передача некоторых состояний, которые ты отлавливаешь у непосредственно учителя или учителей, ты настраиваешься на определенное состояние. Вот коллективное бессознательное – это не передача конкретных понятийных знаний, а скорее передача некоторых состояний.

Валерий Демьянков (В.Д.) Состояний эмоциональных или интеллектуальных?

В.П. На этом уровне нет уже... Знание уже состояние, а не объект, которым человек обладает.

В.А. Сознание, как философы говорят, всегда ориентировано на какие-то предметные формы.

В.П. На уровне бессознательного нет предметности. Там некоторые целостные состояния. И передача целостных состояний, под которые нет еще теории формации целостных состояний. Это примерно так же, как в конце коридора кто-то прошел, мелькнул плащ. Я по части идентифицирую целое.

М.И. Это состояние можно назвать? То есть передача образов.

В.П. Образ – скорее на уровне индивидуального. Но еще глубже – коллективное бессознательное уже беспредметно, но обладает состояниями какими-то.

М.И. В шаолинской традиции это называется «от сердца к сердцу». Так взаимодействуют учитель и ученик – от сердца к сердцу. То есть твоё состояние и состояние учителя должны взаимосоотнестись.

В.П. Я завел этот разговор к тому, что мы обычно в науке рассматриваем человека как психофизический, психофизиологический объект. Изучаются социальная психология, включенность в коллектив, в общество. Но человек же еще включен, по всей видимости, в какой-то космический эволюционный процесс. Начинать тогда стоит с русских космистов, с Чижевского...

Чижевский, правда, немножко другое... Я вот был в Бухаре недавно, написал маленькую статью «Ковер-самолет как возможность полета в ментальное пространство». Человеческие альфа-, бета-, гамма-ритмы ведь соответствуют фактически биоритмам ионосферы. И в любой религии

есть формы динамической медитации: раскачивание, молитвенные барабаны, зикр. Фактически через динамические структуры входишь в некоторые эмоциональные состояния, соответствующие этим ритмам. Но ковер – тоже повторяющиеся узоры; плюс некоторые символы, которые настраивают на определенные состояния. То есть целая гамма таких настраивающих вещей, которые исподволь, но уже заданы в человеческой культуре. Я не буду развивать эту идею сейчас. Мысль в том, что человек не только вот эти уровни индивидуальные, коллективные и т.д. Возможно, уже настало время выходить на тематику космической эволюции и рассматривать преобразования и в биосфере, и в социуме, в первую очередь в социуме, потому что человек находится на острие космической эволюции. И пора рассматривать его влияние на космос и влияние космоса на него. И в этом плане не выйдем ли мы на контакт с космическим сознанием? Но не в той форме, что космонавты прилетят на ракете и мы с ними общаться будем... Не включены ли мы уже в такой контакт?

В.Д. В суперразум.

В.П. По крайней мере наша ускоренная эволюция за последние 10 тыс. лет – просто фантастическая. Миллионы лет эволюция шла, но шла в форме биологических катастроф. Медленно-медленно-медленно миллионы лет проходила, а потом какая-то очередная катастрофа, 90% видов вымирают, появляются новые. Но ментальная революция – просто фантастически быстрая... Пушкин – почти наш современник.

М.И. Это да, есть такие временные шкалы.

В.Д. При нем не то что Интернета не было, компьютера даже не было.

В.П. В нашем детстве не было.

В.А. Мы все пережили компьютерную революцию.

В.П. Конечно! И есть немало хороших работ Назаретяна или Панова...

В.А. Гипотеза технологической сингулярности? Была дискуссия о технологической сингулярности. О том, когда будет создан искусственный разум, то мы перейдем в другое состояние.

В.П. Про разум я очень сомневаюсь, но вот эти кривые показывают, что 2045 год...

В.А. Точка сингулярности?

В.П. А причину связывают с искусственным интеллектом. Я так не считаю.

В.А. Много сторонников этой технологической сингулярности.

В.П. Большинство.

В.А. Большинство, согласен. Но в одной статье на этот счет, которую я читал, приводится критика такой позиции со стороны Андрея Коротаева, нашего коллеги, который и у нас публиковался. Он считает, что не будет точки этой технологической сингулярности. Как он объясняет, эта технологическая сингулярность предсказывается логарифмической кривой, которая идет к точке; а он считает, что процесс идет в форме сину-

соиды. То есть она идет в виде волн: сначала ускорение, а потом замедление пойдет.

В.П. В любом случае есть ощущение перелома и фантастических ускорений эволюционных процессов, чего мы не можем отрицать. Я для себя вижу, например, что в течение трех столетий мы выйдем на контакт – не с иной цивилизацией, как представляют, а с формой космического сознания.

В.А. С Богом?

В.П. Называйте это Богом.

М.И. Мы вернемся в прошлое, вперед в прошлое.

В.П. Можно еще два слова? Я не объяснил суть психосемантики. У того же Келли каждый человек – наивный экономист. Приходит в магазин с калькулятором – можно купить или нет? Не слишком ли дорого, осмысленна ли покупка. Мы – наивные житейские политологи, потому что голосуем, кто-то нам нравится из политиков. Мы наивные искусствоведы, потому что ходим в музеи, там какие-то картины нам нравятся или нет. То есть у нас есть какие-то категоризации, которые мы не осознаем. Маленький ребенок может прекрасно говорить на своем родном языке, но не создавать синтаксис, грамматику языка. А мы начинаем через осознание и т.д. Так вот, эти методы психосемантики связаны с тем, что человек оценивает, сортирует, классифицирует в своих частных суждениях. Если есть там Маша, Оля, Петя, то Петя поумнее, чем Маша, а Таня поглупее, чем Оля. Это он в состоянии делать. На основе чего делают систему категорий? Мы вытаскиваем уже из матрицы множество частных суждений. То есть математический инструментарий, факторный анализ, кластерный анализ, шкалирование, структурное моделирование позволяют найти закономерность некоторую для множества частных суждений.

В.Д. Сейчас все осознают, что это множество огромно и безгранично. Возникают необходимость и возможность обработки огромных, беспредельных массивов эмпирического материала.

В.П. С другой стороны, тематика бессознательного и т.д. требует уже каких-то герменевтических, интерпретативных методов, совершенно не статистических.

В.А. Это еще неокантианское деление на идеографические и номотетические методы?

В.П. Фактически похоже. Это какая-то более современная терминология старых идей. В общем, да, вы правы.

О трансфере знаний и методическом / методологическом этапе в науке

В.Д. Кант был в значительной степени именно методологом. Он творил в тот период, когда накопилось действительно огромное количество

во эмпирических материалов и человек задавал себе вопросы: «А можно ли это вообще когда-нибудь осознать? Доступно ли в принципе построить какой-либо метод, с помощью которого можно постичь и объяснить все это?» Кант предложил пути для решения этой задачи. Мы сегодня находимся в очень похожей ситуации. Отличие только в том, что у нас огромное количество материалов, которые мы даже не можем пощупать руками. Нам кажется при этом, что мы далеко продвинулись, только потому, что провели массу экспериментов и накопили много данных: «О, это я знаю! Это у меня есть в компьютере». Но это как если бы маленькая девочка сказала: «Я уже почти знаю китайский язык: мне вчера купили учебник».

В.А. Ну у нас есть искусственный интеллект, которого не было еще во времена Канта.

В.Д. Наше поколение пережило в свое время эйфорию по поводу искусственного интеллекта. Мы с Виктором были даже на первом семинаре «Диалог» об этом, в Таллине.

В.П. Но у нас эйфории не было.

В.Д. У нас не было эйфории. У нас было счастье, что мы можем найти общий язык с очень симпатичной публикой. Там были математики, компьютерщики.

В.А. Это значит, что была такая тенденция – к интеграции науки.

В.Д. Она всегда была.

В.П. Тогда-то мы это чувствовали. Те годы были как-то научно продуктивнее, чем сейчас. Сейчас регресс, падение.

М.И. Мы тогда были моложе.

В.П. Мне кажется, что были и старше нас люди. Я смотрю, кто нас учил в свое время, – это были очень яркие личности. Я склонен интерпретировать это как последствия военного стресса. Эти люди, пережившие какие-то очень экзистенциальные состояния, ярче и высокой направленности. А сейчас происходит, мне кажется, некоторая деградация общего духовного уровня общества.

В.А. Ну да, человек, переживший страх, может быть, более обостренно воспринимает все остальное.

В.П. Не только страх. Тут были и другие чувства.

В.А. Пограничные состояния?

В.Д. Но сейчас у нас состояние, тоже близкое к пограничному. Что делать с огромными данными, которые у нас есть? Мы на них сидим. Мне кажется, что понятие трансдисциплинарности – это такая надежда воспарить над методом собственной дисциплины, которой каждый занимается профессионально, найти источник вдохновения в других дисциплинах и, скажу я за скобками, убедиться в том, что у нас уже были те же самые идеи. Так же как мы с Виктором окончили школу математико-программистскую в свое время.

В.А. Тогда было много поисков. Были разные математические школы, которые создавали для таких одаренных детей.

В.Д. Но в ту эпоху самым главным было поставить задачу, как в математике, и решить ее. Это то, что в нашей школе ценилось. Правда, мы стали оба гуманитариями, не сговариваясь, после такого столкновения с математическими методами, но на всю жизнь. На наше с Виктором поколение гуманитариев наложило отпечаток вот это отношение к занятию наукой как к решению каких-то более или менее локальных задач с формулированием результатов и с обоснованием, близким к доказательству. Недаром, например, у нас очень модны были с 60-х годов лингвистические олимпиады. Даже в литературоведении можно придумать задачу для школьника. Например: «Почему Татьяна полюбила Евгения Онегина?» Это гениальная задача. Правильный ответ следующий: «Пора пришла, она влюбилась». То есть наступил тот биологический период в жизни девочки, который неминуемо ведет к влюбленности. Приучали вот к такому стилю мышления, который приводит к парадоксальным решениям, к тому, что называется «красивое решение задач». Постановка такой задачи заставляет проследить ход мыслей и прийти к логичному ответу. При таком методе, при таком пути даже пятилетний ребенок мог бы ответить на поставленный вопрос. Но чтобы сконструировать такой метод, нужно как-то воспарить над предметом.

В.П. Приведу пару смешных примеров. Мы сделали сказочный семантический дифференциал. Дети оценивают сказочных персонажей. Мы определяем просто по компьютерному мониторингу когнитивную сложность, характер, личностный конструктор. И вот пример. Маленький ребенок шести лет оценивает Айболита: «Айболит не очень умный. Он со зверюшек денежек не брал. Но он хороший».

М.И. Валера, может быть, ты сейчас такой же экзерсис проделаешь? Расскажешь немного о своих занятиях в связи с вопросами, которые мы сформулировали.

В.Д. Я не претендую на обстоятельность, потому что Виктор действительно выполнил двойную задачу, очертил контуры обсуждения, предоставил интересный эмпирический материал из истории психологических методов, методик, это датируется XIX в., потом 1920–1930-е годы, и вплоть до когнитивной психологии последних лет. Для нас это именно эмпирический этап, в том смысле, что для нас в данном случае материалом служат наработанные методы в разных науках, особенно в психологии, в физике и т.д. По наблюдениям старших товарищей, науки претерпевают циклы из трех периодов. Первый период – это накопление материала. Второй период – когда возникает вопрос о методах получения и обработки материала, а особенно – о том, что делать с этим материалом. И третий – воспарение над методами и эмпирическим материалом в попытке создания объясняющих теорий. Иногда эти три периода совпадают по времени. Сейчас мы переживаем тот самый методический этап, когда накоплено огромное, просто зашкаливающее количество эмпирического материала и иногда у исследователей просто опускаются руки: что с этим делать? Но

еще на нашей с вами памяти 1960-е, 1970-е годы, когда был взрыв интереса к теоретическим построениям на основе тогдашнего, значительно более скромного, чем сейчас, эмпирического материала. Сейчас же возникает оптимистическая гипотеза, что если мы установим какие-то принципы создания и применения методов обработки этого материала, то на следующем этапе, обработав этот материал и воспарив над ним, мы сможем построить дальнейшие теории.

И вот эта трансдисциплинарность породила очень много размышлений на тему: «А что нам эта трансдисциплинарность даст?» Так вот, если взять по номиналу, то тогда же родилась и идея «трансфера знаний» – сейчас одно из ходовых понятий в философии науки, – то, что под этим понимается. Это перенесение знаний из одной предметной области в другую – по аналогии или буквально. Получение на этой основе новых значимых, не вспомогательных или эвристических, а именно значимых результатов. В теории перевода такое понятие трансфера давно существовало, но не трансфера знания, а трансфера значения, когда слово одного языка невозможно перевести на другой язык. «Совесть» перевести на английский язык так, чтобы это не совпадало со словом «сознание», очень тяжело, но тем ни менее можно, просто нужно потрудиться.

В.П. Карамзин ввел эти понятия – «сознание» и «совесть». Вещь чисто русская, надо сказать. Прекрасный философ недавно умер, который не был даже кандидатом наук, но прекрасный, Померанц. Он пишет, что в русской культуре, в России легче найти святого, чем просто порядочного человека. То есть вот она совесть, ориентация на духовное, а что там какой-то закон, честность перед законом и т.д. Вот непереводаемость особенностей ментальности.

В.Д. Возвращаясь к проблеме переводимости и понятию *трансфера*. Что кроется за этой фигурой речи: *трансфер знания*? Это значит, знание как предмет какой-то существует, и этот предмет перемещается в другое место. Ведь чисто этимологически трансфер – это «перемещение, перевоз» по-латыни. Говоря о трансфере знания, мы имеем дело с метафорой перевоза того, что уже существует. Можно посмотреть на это с точки зрения других метафор – того, как мы воспринимаем знание и храним знание, скажем, на жестких дисках, на современных носителях информации. Однако специалисты в области информатики нас учат: там такого буквального переноса информации нет. Там есть строки символов или то, что записывается с помощью этих строк. Эти строки меняют свое состояние: нули заменяются на единицы в некоторых позициях, в некоторых остается то же самое. Но там этого перемещения в пространстве не происходит. Если перевести образ переноса в ту плоскость, с которой мы стартовали с Виктором, когда занимались еще большими электронными машинами, когда в машинах просто лампочки мигали: мигнула лампочка – возникла новая информация. Там, где она не мигнула, эта информация осталась на прежнем месте. Этот вот трансфер, или перенос, – очень интересная, продук-

тивная идея, на которой основано большое количество исследований по методологии знаний, по методологии науки и т.д.

Но можно пойти и дальше, взяв на вооружение немножко другую метафору, другое образное представление о возникновении нового знания, – не обязательно рассматривать этот процесс как перенос этого в пространстве. Тем более что пространство и время, скажем, в философской теории иногда представляются и воспринимаются как фикция, а вот знание можно представить как состояние предмета – по аналогии с состоянием носителя информации в компьютере. Итак, *знание как наше состояние, а не объект, которым мы обладаем*. Вопреки тому, как мы привыкли говорить в обыденной речи. Например: «У меня нет достаточных знаний». Или когда говорим о деятельности преподавателя как о передаче своих знаний ученикам. Только очень редко мы говорим, что преподаватель приводит ментальность своих учеников в новое состояние. Все на той же пространственной фигуре речи основан и такой фантастический проект, как таблетки знаний. Вы выпиваете таблетку и сразу же начинаете говорить на неизвестном языке. Потом вас хлопают по плечу и говорят: «С чего это ты вдруг заговорил по-японски?»; вы отвечаете: «Нахвтался» (та же пространственная метафора). Или приходим, допустим, в нейробиологическую лабораторию и смотрим, как там мышам делают инъекцию из одного мозга в другой. Вводят инъекцию из мозга другой мыши, которая научилась стучать в барабан или бегать по лабиринту после инъекции куска мозга обученной до этого мыши.

В.П. И другая тоже начинает стучать в барабан.

В.Д. Она тоже начинает стучать. Или этот же самый лабиринт проходит в 10 раз быстрее, чем мышь-донор. Если это воспринять как эмпирическую базу, то это действительно кажется потрясающе интересным. Но опять-таки это, может быть, то, что, по предположению, происходит в пространстве и называется буквально переносом знаний. Может быть, этот перенос, действительно существует, но нас далеко не всегда в науке удовлетворяют наши же метафоры, да и видим наиболее удачные мы не всегда.

О знании и знаках

В.П. Эта методология подразумевает, что знание – это вещь, что можно ее передать, и т.д.?

В.Д. Да-да-да.

В.П. Другая позиция...

В.Д. Другая позиция: знание – это состояние.

М.И. А еще есть третья: что мы конструируем модели мира и могут быть совершенно разные модели по поводу одного и того же фрагмента реальности.

В.Д. А ведь возможен и такой взгляд, что знание в одних случаях – предмет, а в других – состояние. Сравните взгляд на одни и те же частицы – то как на волны, то как на мелкие предметы.

В.П. Я сейчас про то, что знание – это не фрагмент объективной реальности, а некоторая модель, которую нельзя вычленишь вне самого субъекта познания. Единственное, с чем мы, видимо, все согласимся, – это то, что знание – не субъект. Ведь это было бы равносильно предположению, что флешка, лежащая на дне моря, и есть субъект знания.

В.Д. Можно так сказать. Факт тот, что знание – что бы мы о нем ни говорили – не передается. Может, у мышей можно как-то субстрат передать, но мы знание все время конструируем. В знании наша личная позиция, наша система ценностей, наша мотивация. В физике это менее заметно, в гуманитарных науках – просто очевидно.

М.И. Мне очень понравилось то, что вы сейчас сказали, но у меня сразу возникли в связи с этим свои семиотические ассоциации. В основе знания вообще-то лежит знак, если по-русски говорить. Когда Валера стал говорить о трансфере знаний, у меня такой образ сразу возник. Получается очень интересно. Если мы возьмем знак, то у знака есть две стороны и знак действительно передает... Что он передает? Знак переделывает значение в смысл, а смысл – в значение. Это посредник между смыслом и значением. В результате того, что смысл становится значением, переделывается в значение, а значение переделывается в смысл, мы и получаем знание. Потому что знание – это есть то, что крутится на знаке. И в этом смысле трансфер знания – это как бы тавтологично получается. Знание есть транслятор

В.П. То есть знание – есть транс, состояние, а это именно процесс? Знание как процесс.

М.И. Это третье – не состояние и не процесс. А знание, перевод из одной формы, от значения к смыслу, а от смысла – к значению. Значение и смысл.

В.Д. То есть если я что-то знаю, то в тот момент, когда я это знаю, я претерпеваю некоторые изменения?

М.И. Да.

В.Д. Об этом я не думал, но мне это нравится, это интересно. Ну вот чем подход лингвистов отличается от подхода психолога? Казалось бы, исследуем то же самое: и употребление языка, и семантику разных знаков, слов и т.д., но лингвисты в этом смысле «бегают со связанными ногами». Мы в минимальной степени допускаем в качестве филологического метода вмешательство с помощью психофизиологических методик. Это уж скорее достояние психологов. Вообще филологический метод основан на том, чтобы наблюдать за тем, что уже существует, внимательно смотреть на это, пытаться любовно проинтерпретировать и получить выводы о том, каковы правила употребления тех или иных знаков, которые допускают

определенные цепочки слов и выражений и которые, наоборот, не допускают другие цепочки.

О знании и запрете

М.И. Я помню, после первого курса вы ездили в экспедицию изучать шугнанский язык на Памире. И ты с удовольствием рассказывал, как, наблюдая то, как народ там общается, вы обнаруживали грамматику...

В.Д. Да-да-да.

В.П. В филологии же запрещен эксперимент...

В.Д. Нет, он есть, но он другой. Мы задаем информанту вопрос: можно ли так сказать? Это в некоторой степени имеет отношение к поведенческой реакции. Но опять-таки, по неписанным законам филологического метода, грубого давления на информанта по таким вопросам допускать нельзя.

В.П. А вот в психологии есть такой метод – метод сопряженных моторных реакций и метод не семантического дифференциала. А точнее, «семантического радикала» – так «обозвал». Если упрощать, то суть метода в том, что когда даешь какие-то аффективно заряженные слова, характер ассоциирования меняется. У меня курсовая работа четвертого курса была об этом: формировали искусственные понятия, объекты, входящие в объем понятий, – и подкрепляли слабым ударом электротока. В качестве испытуемых использовали своих приятелей. И в плане оборонительной реакции (ее можно засечь по сопротивлению кожи или по расширению-сужению капилляров) идет перенос на семантические связанные объекты. Таким образом можно восстановить семантические поля, через чисто физиологические реакции. В дальнейшем вот в детекторе лжи придумали, как это использовать. Но фактически уже у этих методик они могли засечь аффективные области через семантические связи...

Мы еще в гипнозе, например, давали запрещение видеть сигареты. И человек тогда не видит не только сигареты, он не видит пепельницу, он не видит зажигалку, или зажигалку видит, но крутит ее, как какой-то цилиндр, говорит: «Наверное, из-под валидола», – т.е. оттормаживает ее предметную функцию. То есть выпадают не только запрещенные объекты, но и семантические связи – как будто в картине мира образуются определенные пустоты.

Такое случается не только в экспериментах с гипнозом. Бывает, что, например, если девушку изнасиловали, у нее могут выпадать из картины мира (а могут и не выпадать) все вещи, связанные с этим аффективным переживанием.

Мы вообще осознаем то, что можем выразить в слове, в понятии. Если мы блокировали каким-то образом вот эти понятия, мы не осознаем. То есть если даешь в гипнозе запрещение видеть какие-то вещи, на-

пример лыжи. Лыжи лежат перед человеком, но он не называет их, когда перечисляет предметы. Хотя он обходит эти лыжи, когда передвигается по комнате. То есть не идет напролом – он же их видит, он обходит, но не осознает эти лыжи. Осознание связано с актуализацией понятия.

В.Д. Алкогольное кодирование на том же построено?

В.П. Да, иногда при кодировании у алкоголиков специально вырабатывают очень сильный страх перед алкоголем. Они видят, как разлагается их тело... Но если просто вызвать страх перед алкоголем, человек будет клей нюхать или найдет какой-то другой заменитель. Важно не только вызвать страх перед алкоголем. В гипнотерапии, например, пациенты еще «летают в космос», созерцают Землю, оборачиваются демонами... Чтобы самооценка возрастала и т.д. И вот после такого курса из 10–15 сеансов у людей появляется не только страх перед алкоголем, но и какие-то новые желания – поступить на другую работу, что-то сменить, может, даже жену поменять. Возрастает самооценка. Хочется изменить стиль жизни совсем. Это другое, более эффективное лечение, чем просто вызвать страх. Это система мотивации и ценностей перестраивается. Но это более сложно.

В.Д. В связи с этим хочу сказать, что мы тоже находимся, когда занимаемся наукой, во власти вот этих самых императивов – увидеть что-то, или не видеть чего-то.

В.П. Конечно!

В.Д. Итак, метод основан на том, что ты видишь лыжи в рамках своего метода, ты их ощущаешь, но ты их интерпретируешь не как лыжи, не адекватно тому, для чего эти лыжи были созданы и поставлены в твоей прихожей. То есть в нашей науке мы действуем так, как если бы мы были загипнотизированы каким-то высшим существом, которое заставляет нас все воспринимать именно данным способом, но не другим. Например, когда объясняют феномен постоянного значения, того, что знак имеет какое-то устойчивое «лексическое» значение. Скажем, слово *стол*. Задай вопрос любому носителю русского языка, он вам скажет – это на четырех ножках. Но почему слово *стол* означает именно предмет на четырех ножках? Вслед за Соссюром язык нам говорит: «Ты этому слову можешь приписать любое значение, но не это, не это, не это». А в результате остается то значение, которое равносильно предмету на четырех ножках. То же самое с этими лыжами. Мы все находимся в этом самом состоянии своеобразного группового гипноза, если угодно, когда вы видите одно и то же в одних и тех же предметах. То есть мы интерпретируем мир и речь о нем только в рамках заранее предначертанного в нашем обществе образа.

И.Ф. То, подо что есть понятие в определенной сфере.

В.Д. Совершенно верно. В связи с этим всплывает разграничение понятий культуры и цивилизации. А именно, в рамках определенной этнической культуры мы употребляем разные слова. Когда же мы рассматриваем методические приемы наук за пределами одной конкретной культуры, в «надкультурном» пространстве, речь идет о факторе научной

цивилизации. Здесь могут быть не только положительные эффекты, но могут быть дополнительные ограничения и запреты, аналогичные эффекту лыж, о котором мы уже говорили. Вот в этом смысле наука в не меньшей степени подвержена коллективному гипнозу. Я вообще с восхищением воспринимаю работы Виктора, связанные с гипнозом. Под этим углом можно сформулировать и подход к проблеме понимания. Если мы кого-то понимаем, значит, в этот момент мы находимся в своеобразном гипнотическом состоянии, хотя бы секунду. Например, я говорю: «По небу бегут белые облака». И если в этот момент вы не увидели чего-нибудь белого, синего, голубого, значит, вы не носитель русского языка. То есть адекватное владение уже самим языком происходит в некотором состоянии, близком к гипнозу, в который мы приводим себя добровольно. И в науке тоже, при восприятии чужих теорий и концепций.

М.И. Это интересно. У нас есть такая система запретов, которую в каждой из наших дисциплин ввели не мы лично, а наши учителя, есть традиции. Довели до какой-то изысканности запретов и разрешений. И вот мы эту изысканную игрушку как метод используем. Виктор ток измеряет, ты алломорфы различаешь, мы политические корреляции выявляем. Мы все этим занимаемся. А что если попробовать из этих изысканных вещей взять и сделать наиболее изысканную. Посмотреть, какие два-три базовых запрета там есть. И вот если мы такую штуку сделаем, нельзя ли тогда не трансфер знаний осуществить, а трансфер инструмента, запрещающего?

В.П. У Витгенштейна есть высказывание, что язык ограничивает, дает границы нашего осознания мира.

В.Д. «Границы моего языка – это границы моего мира».

В.П. Да.

В.Д. Это «ранний» Витгенштейн.

В.П. Неважно. Я это вспомнил к тому, что язык позволяет осознать мир и одновременно задает рамки этого осознания. Очень, на мой взгляд, вредное понятие, которое дает ограничение в гуманитарных науках, а взято оно, собственно, из естественных. Это понятие – объективная действительность, истина. Что есть нечто, не зависящее ни от культуры, ни от языка, оно существует. И что вот оно способно транслироваться.

В.А. Но эти термины употребляются, вот что интересно.

В.П. Но они очень мешают. Ведь любой язык базируется на системе каких-то базовых метафор.

М.И. Это Джордж Лакофф и Марк Джонсон.

В.П. И вот эти базовые установки, типа такой механистической философии, очень мешают дальнейшему развитию и естественных наук, и в первую очередь гуманитарных, в которых роль культуры, языка, субъекта гораздо более заметна. Вот у меня, например, дискуссия с одним американским коллегой была о том, есть ли эмоциональная наука. Вот с точки зрения теоремы Пифагора наука интернациональна, в любой стране теорема одинакова. В общем-то даже в естественных науках роль культуры

все равно сказывается. Возьмем логику, какая-нибудь логика английского позитивизма и буддистская логика – это достаточно разные реалии.

В.А. Ну историки философии находят общий язык.

М.И. Естественно, что-то общее есть.

В.Д. В рамках каждой культуры можно говорить о научных принципах (какими бы примитивными или, наоборот, продвинутыми они ни были), они обусловлены культурой. Но когда возникает цивилизация как надкультурное образование, тогда можно говорить о том, что некоторые культурно обусловленные научные принципы приобретают статус надкультурных, цивилизационных научных принципов.

М.И. Если не культурой обусловлены, то чем?

В.Д. Пожалуй, научные принципы все обусловлены культурно. Но есть возможность перехода от культурной обусловленности в цивилизационную обусловленность. Вот мы живем в мире, где аксиомы Эвклида и правила логического вывода цивилизационно обусловлены. В иной культуре (например, в культуре папуасов Новой Гвинеи, описанной этнографами), где не учат математике в школе, принципы математического исследования тоже, наверное, есть: ведь умеют же они считать хотя бы до двух и могут поделить землю. Но эти принципы не являются частью нашей цивилизации или другой какой-либо цивилизации.

М.И. Я вас прерву. Просто с этой стороны сидят три человека, которые сталкиваются в своей жизни с ситуациями, в которых ряд некоторых наших коллег (назовем их так) говорят: «Нет, ребята, ваша политическая наука – это фигня. Надо создать русскую, практическую, отечественную, настоящую». Так что тут палку нельзя перегнуть. Научи богу молиться, так он лоб расшибет. Подай мне русскую науку политическую!

В.П. И здесь еще такой вопрос: если ограничения снять, то тогда где гарантия, что не произойдет наплыва аутического и просто бессмысленного на мысленные конструкции?

В.Д. Да, но это расплата за то, что мы пользуемся в нашей науке цивилизационно обусловленными понятиями типа «истина» и «объективность». В то же время ясно, что, например, историческая наука создана для того, чтобы обслуживать интересы существующих классов. Может быть, мы не все называем это классами. Сейчас общество сильно изменилось по сравнению с тем, что было в XIX в. Все не так просто. Но тем не менее что тут говорить – история науки нас учит тому, что, во всяком случае, социальные и гуманитарные науки обслуживают в том числе и интересы общества, каким бы оно ни было.

В.П. Но правд может быть много. И они конкурируют.

В.Д. Побеждает сильнейший.

М.И. В этом смысле то, о чем вы говорите, верно по отношению к разным научным дисциплинам и к разным научным направлениям внутри одной дисциплины со своими методами. Они все как бы занимаются вот этим взаимным исключением.

В.Д. И взаимным дополнением.

М.И. И взаимным дополнением.

В.Д. Так что это не безнадежный релятивизм.

М.И. Но такой релятивизм ведет нас к расширению – к увеличению количества не только данных (об этом Валера говорил), но и методов.

В.Д. И теорий.

М.И. Так вот – нельзя ли осуществлять не только расширение, но и сведение?

В.П. Можно провести аналогию с генетикой. Когда уж очень высокая изменчивость, вид пропадает. Но и если консервативный очень, он тоже пропадает.

Об эмпирическом и теоретическом

В.А. По поводу того, что, мол, науки обслуживают, я помню, читал статью Валлерстайна. Он пишет о социальных науках – как они возникли и для чего они. Что они возникли как бы в противовес, для ограничения консервативных тенденций в политике. То есть в XIX в. после Французской революции победила реакция, к середине XIX в. установился реставрационный консервативный режим в Европе. И именно в этот период появляется идея социальных наук...

В.П. Под знаком объективизма.

В.А. Да-да. То есть социальные науки возникли как средство скорее не сопротивления режимам, а подталкивания в реформаторское русло вот этих консервативных режимов. Да, под знаком объективности...

В.Д. Путем их перевоспитания.

В.А. Да, стимулировать эти консервативные режимы к реформам. И этим Валлерстайн объясняет появление идеи и метода социальных наук. Они появились как форма знания, ориентированного на естествознание, где главный критерий – объективность. Они взяли отсюда эту идею и предъявляли ее консервативным политическим кругам как аргумент в пользу того, чтобы те проводили реформы в направлении, которое указывает наука. И отсюда линия на просвещение чиновничества – чтобы были реформы и т.д. И реформы действительно пошли. Вот с этим может быть связано появление социальных наук с их установкой на объективность в XIX в.

В.Д. Но тогда же родилась идея о том, что естественные науки держатся на других принципах, чем науки о человеке.

В.П. Ну она чуть позже родилась. Потому что сначала они должны копировать...

В.Д. Когда речь идет о математических законах, интегралах, дифференциалах, то вне зависимости от того, к какой партии мы принадлежим, будут одни и те же результаты. Вот здесь как раз тот случай. Вы помните, мы начали с положения о том, что в наше время уже давно существует по-

нятие задачи, которая решается с помощью того или иного метода? Есть такие методы, которые решают одни и те же задачи и дают одни и те же решения, а есть и такие методы, которые дают разные результаты. Если не ошибаюсь, во времена нашей молодости Андрей Николаевич Колмогоров издал книжку, в которой рассказывалось о том, как одни и те же задачи при решении разными методами, особенно в теории вероятности, дают разные ответы. Мораль была такая: ребята, хоть метод теории вероятности объективен, но есть те случаи, когда даже не различия в интерпретации дают разные результаты, а само решение задачи, причем абсолютно логичное, может дать в одном случае дважды два – четыре, а в другом случае – 4,4.

В.П. И из этого вывод?

В.Д. Вопрос остается открытым. Но тем не менее, есть такие задачи, на которые эксперты в одной и той же области при решении разными методами могут дать разные ответы. Раз уж в математике это так, где объективность у нас зашкаливать должна, то...

М.И. Вопрос: а точно ли это одна и та же задача?

В.Д. Это очень хороший вопрос.

М.И. Может быть, это чуть-чуть другая задача.

В.Д. Может быть, да. Ну это такой оптимистический способ ответа на вопрос. Потому что если признать, что задача та же, то мы должны отказать от разграничений точных и полуточных наук. А в принципе, если следовать когнитивистам, есть шкалы такие, как объективность, точность и т.д., где на одном полюсе что-то приближенное к математике, а посередине где-нибудь – другие науки. Вот мы с вами и сидим посередине.

М.И. Валера, вот как раз мы-то, собственно, вокруг этого, о чем ты сейчас говоришь, и вертимся. В одной из статей, которую недавно мы с Ваней написали, он с этого начинает, с разграничения качественных и количественных методов. А потом идет дальше: что количественные и качественные – не совсем точное название и т.д. Это – Ваня, я ему там в статье только подыгрывал. Посмотрите, что у нас получается. Можно работать с мерой, числом и т.д. Все равно где. Это не обязательно касается физических объектов. Можно и слова измерять, можно и количество картин, мазков и т.д. Только если будешь измерять количество мазков на картине, ты не получишь адекватного знания про эту картину.

В.Д. Еще зависит от того, каким маслом написана картина.

М.И. Каким маслом, да. Совсем другое – когда мы хотим заметить качество... По поводу качества здесь мы с вами выкруливаем на смыслы, на семиотику и т.д. Однако, оказывается, есть еще смешанные методы, которые ни туда ни сюда не попадают. Что это такое? Мы решили рискнуть и назвать это морфологией – то, что с формами связано.

И.Ф. Тут проблема в том, что термин «смешанные методы» – вообще термин не очень удачный, потому что, по сути, люди с его помощью пытаются сказать, что можно смешивать методы качественные и количе-

ственные. Но само по себе разграничение методов на количественные и качественные оказывается не очень содержательным. Особенно это касается качественных. В чем их суть? Может быть, стоит вместо количественных и качественных методов говорить о семиотических методах, о математических методах и о методах, как Михаил Васильевич предлагает, морфологических – конфигуративных, таких как QCA. И это более содержательное разграничение будет.

М.И. Да, например, такой смешанный метод, который называется QCA, качественный сравнительный анализ. В чем он заключается? Он заключается в том, что мы выявляем некий набор условий политических или социальных, не важно, может быть, даже житейских свойств или показателей. Их мы считаем условиями. Потом мы составляем набор каких-то явлений, которые являются откликом. Мы смотрим, какие связи обнаруживаются между комбинациями условий и откликов. Мы смотрим, с какой вероятностью у нас появляются определенные комбинации... Вот это фон. Это не смысл.

И.Ф. Смысла – а значит, семиотики – здесь нет никакого. Это конфигурация, т.е. морфология.

В.Д. Вот это есть в палеонтологии – когда вы видите форму резцов и заключаете, что у мужика не было хвоста.

М.И. Да, типа этого.

В.Д. Это пафос палеонтологического исследования еще в XIX в. Хотелось бы (это было пределом мечтаний для нас, со времен еще объективизма в социальных и гуманитарных науках), чтобы можно было по образцу, в парадигме (как сейчас принято говорить) палеонтологии, восстанавливать недостающие части или их реконструировать. Более того, лингвисты до сих пор так делают. Например, когда на основании 100–200 корней, которые совпадают полностью или частично в совсем разных языках и между которыми существуют регулярные соответствия, делают выводы о том, что, скажем, китайский тоже входит в ту общую «прасемью» или «сверхсемью», в которую входят индоевропейские и урало-алтайские языки. Но вот такой опасливый индоевропеист начала XX в., как Антуан Мейе, так далеко не заходит. Для него материал должен быть сверхбольшим, если не исчерпывающим, чтобы обладать доказательностью. И здесь мы приходим как раз к тому самому положению, от которого стартовали. Чем больше эмпирическая база, на которой делаются научные выводы, тем надежнее эти выводы. Вывод тривиальный с точки зрения статистики. Чем больше эмпирическая база, тем более обоснованы выводы, которые мы можем сделать. Эти выводы должны относиться со стопроцентным успехом к этой эмпирической базе. Но ведь есть и другая опасность: чем больше эмпирическая база, тем труднее сделать какие-либо обобщения. Когда эта база сверхвелика и необозрима, то сформулировать гипотезу бывает сверхтрудно и даже невозможно. То есть тогда возникает вопрос: зачем нам такие большие базы данных создавать огром-

ными трудами, не маргышкин ли это труд, если в итоге мы это освоить не можем? Тут возникает понятие освоения знаний, опять-таки как эта объективация знаний или отношений. Однако, как всякий оптимист, я не считаю, что это маргышкин труд. Я считаю, что мы все занимаемся нужным делом. Высказанные сомнения означают, что во мне как бы говорит «адвокат дьявола».

М.И. Ну понятно. Надо всегда, как Кант нас учил, с критикой по своим самым любимым мнениям.

В.А. Ну да. Здесь вот возможен эксперимент как выход. То есть экспериментируют в некоторых искусственных условиях, которые позволяют обобщить сразу очень большой массив материала.

В.Д. Так, Кеплер вывел свой закон почти эмпирически. Только потом под него подвели математическую подоплеку, но первично были большие таблицы движения звездных тел. Но это тот самый случай, когда данных было по сегодняшним масштабам не так много на фоне того, что мы имеем сегодня. Даже протоколы наблюдений за мышами в разных лабораториях мира: эти протоколы обработать, наверное, можно, но один человек этого сделать не сможет, конечно. Или это будет тривиально, когда тысячный эксперимент делать будет уже бесполезно.

В.П. Мне кажется, там будет такой альтернативный, что ли, ход, это не много-много эмпирии, и потом статистическая обработка, а построение...

В.А. Искусственной эмпирии? Создать искусственную эмпирию?

В.П. Нет-нет. Альтернатива – когда мы строим некоторую целостную модель... Целостную «фантазийную» модель философы создают, например. Конечно, не на основе какой-либо кропотливо измеримой фактуры, а априорно.

И если, например, мы поставим задачу построить модель, объясняющую мгновенную нелокальную передачу состояний, то ее можно создать не сбором статистики, а как теоретическую модель, у которой есть разные следствия, в том числе включающие и вот этот редкий феномен. Если теоретическая модель хорошо работает на разных следствиях, значит, она должна быть правильной и по отношению к единичным редким случаям. То есть модель не снизу, а общая – через целостную картину.

В.Д. Как таблица Менделеева?

В.А. Дедуктивный метод?

В.Д. В случае Менделеева – не совсем дедуктивный. Скорее гипотетико-дедуктивный. Скажем, в зародыше понятие гомологического ряда можно найти даже в XVII в., кто его знает. Но главным достижением модели Менделеева было обобщение большого числа эмпирических данных.

В.П. А потом эта модель находит подтверждение в открытии какого-то нового феномена, да?

В.Д. Причем подтверждение не замедлило возникнуть при жизни Менделеева. А в социальных науках, вот запрос к политическим наукам, – сделать так, чтобы была достигнута та или иная политическая задача, ка-

кой бы абсурдной или бесчеловечной она ни казалась. Вот такой запрос к этой науке, которая должна, по идее, быть над моралью. Или, скажем, в психологии – как вызвать состояние гнева или какой-либо другой аффект; или как можно затормозить или увеличить привязанность к тем или иным состояниям. То есть система понятий этой задачи может быть очень частной, может быть аморальной, может быть наоборот. Это сейчас как-то тоже витеет.

В.П. Когда мы проводим исследования в физике, к примеру, мы пытаемся описать, грубо говоря, то, что (я не люблю это выражение) «есть на самом деле». То есть отсыл все-таки к построению моделей и исследованию следствий, вытекающих из этой модели. Как только мы переходим в гуманитарную сферу, для нас оказывается важным не только описание моделей и следствий, но видение мотивов и целей. То есть любая гуманитарная концепция ценностно ориентированная. Мы закладываем в нее свою ценностную картину, т.е. в этом смысле конкурирующие модели – это конкурирующие идеологии.

В.Д. Да, но есть такие идеологии, которые человек не осознает, пока не поймет, что теория, которой он придерживается, действует против его интересов. Он попадает в состояние когнитивного диссонанса, когда это обнаруживает.

М.И. Понятно, но в нашей традиции тоже существует представление о том, что не должно быть ничего абсолютно безграничного. Великий Макс Вебер говорит, что знание нужно сделать максимально *wertfrei*, ценностно нейтральным. Не в том, конечно, смысле, что оно становится полностью независимым от ценностей и оценок, свободным. Этого он никогда и не утверждал. В своем стремлении быть ценностно-нейтральными мы контролируем и свое познание, и его результаты. Ты просто не даешь ценностной составляющей превысить некий предел, который может оказаться критически фатальным для твоего дела. Точно так же – если это зеркально развернуть к естественным наукам. Отказываясь от ценностей, ты тоже можешь уйти в такой предел, объективистский.

Органы и сенсорумы

М.И. Это очень хорошо, что мы в такие глубины опустились. Дело в том, что мы в процессе прояснения характера органов пытаемся идти к истокам мышления, к поиску когнитивных примитивов. Это одно из направлений, которое нам кажется перспективным. Вот я и хочу задать несколько вопросов, касающихся всяких примитивов. Я позволю себе некую игру в триады. Это не утверждение, будто все в мире четко триадично, как у Пирса. Давайте посмотрим на некие триады, с которыми мы играли. Отчасти я уже говорил об этом, когда вспоминал Ванино различение количе-

ственных, качественных и смешанных методов. Вот в чем штука. Смотрите, у Канта есть чистый разум, практический разум и способность суждения. У него же три разных критики, три разные способности человека, и он их доводит до какой-то очень высокой степени, крайне обобщенной. Если попробовать с чем эти способности и эти критики связать, что может получиться? Вот чистый разум. Надо сказать, что он работает с мерой, с числом. Он с какими-то мерными и закономерными отношениями связан. А вот практический разум связан с формами. Если то, что я объяснял, понятно, двинемся дальше. Если непонятно, можно сказать еще. И способность суждения, соответственно, имеет дело со смыслом, с качеством. А вот дальше, Витя, – это то, что, собственно, ваши люди открыли. Сила, активность, оценка. Можем ли мы с кантовскими категориями сопоставить? Можем ли мы сказать, что, например, сила связана с чистым разумом и, соответственно, с мерой; практический разум, форма – с активностью; и способность суждения, смысл – с оценкой?

В.П. Сказать можно, но я не вижу особого смысла.

М.И. А смысл единственный. Мы играем в эти игры, чтобы искать основания примитивов. Потому что пока мы говорим о «способности суждения», это всеми воспринимается как чисто философская абстракция, а вот смысл в том, чтобы пощупать ее, способность суждения, довести ее до чего-то совсем простого, до самого предельно примитивного. В самом простом виде сенсориумы – это чувства, пять основных чувств. А можно сделать три «суперсенсориума»: это, соответственно, глаза (основной поток информации идет у нас через глаза); рука – орган тактильного чувства, ощупывания (хоть вся кожа тоже чувствует, но рука-то по-настоящему); и ухо – слух.

Понятно, что этими тремя категориями мы не можем ничего исчерпать, потому что есть какие-то дополнительные сенсориумы. И вкус, и запахи, и чувство времени, и т.д. Но эти три чаще всего и наиболее активно используются с точки зрения того, чем мы занимаемся в нашей деятельности, – больше 90% сюда попадает. Наверное, то, что из этих примитивов выросло в научной деятельности, тоже, наверное, занимает те самые 90%. Может быть, есть какие-то изысканные науки, которые обращаются к каким-то ответвлениям. Такая вот фантазия. Насколько она – бесперспективная игра ума; или, может быть, в ней все-таки что-то есть?

В.Д.: Можно я приведу следующее соображение. Есть такая теория (Пола Грайса) касательно того, как, например, мы интерпретируем высказывания, когда чувствуем, что нам сообщают слишком много или «мимо кассы». Например, вы приходите в школу и спрашиваете: «Как учится мой сын?», а вам говорят: «Вы знаете, замечательный товарищ». Я спрашиваю: «А по математике?» – «Вы знаете, он играет в футбол лучше всех!» То, что я узнаю, то, что я домысливаю, получается в результате следующих соображений: мне должны были ответить про математику, а мне говорят про футбол и сообщают информации больше, чем я хотел получить. Какой вы

вод отсюда следует? Видимо, они что-то неприятное не хотят мне сказать. Вот такие случаи называются импликатурами смысла. То есть выход за пределы буквально сообщенного и даже метафорически сообщенного «коммуникативного» смысла, который не обязательно прямо мне вручается. То, что ты, Миша, сказал, относится к получению или «вычислению» этих самых импликатур смысла по Полу Грайсу.

М.И. Да. Понимаешь, вот это разделение отчетливо видно «наверху», когда у нас большая специализация. Вот в науке появляется большая специализация, по дисциплинам, по школам и т.д. Тогда это видно. А когда мы идем вниз, к истокам того, где примитивы сидят, первые способности, исконные способности, они-то оказываются неспециализированными. На том уровне оказывается, что одна способность без другой не в состоянии ничего сделать.

Мы-то сейчас уверены, что, например, с помощью математики можем решать математические задачи и всё. А когда мы берем эти примитивы, то сам по себе глаз или сама по себе рука недостаточны. Они взаимодействуют.

В.П. Ну конечно.

М.И. Они в связке. Вот на этом базовом уровне разделение невозможно. Оно возможно только тогда, когда мы смотрим сверху. Но мы этого можем не замечать.

В.П. Не случайно глаз называют зупом. То есть если человек не будет двигаться, он не научится зреть.

М.И. Да. Вот это, кстати, очень интересно. Примитивы – как у ребенка. У него вот эти все наши пять сенсориумов (или 25) сплетены.

В.Д.: Но с другой стороны, в науке, так же как и у детей, действует деструктивный инстинкт, инстинкт разрушения: для того чтобы убедиться, что ты существуешь, тебе нужно ударить по столу или лягнуть стекло в автомате. Для маленького ребенка или даже для взрослого ребенка это способ убедиться, что он существует, раз он что-то может изменить в этой жизни. В научной деятельности мы уничтожаем, скажем, противоположные мнения фразами типа: «Ах, какая чепуха!» Тем самым мы пытаемся убедить себя в том, что мы существуем как мыслящие сущности. Но попутно мы уничтожаем, возможно, более адекватные суждения о том, что нас окружает.

М.И. То есть методологически, если мы свой метод оттачиваем, да?

В.Д.: То и значит, что мы нечто уничтожаем.

М.И. Мы отбрасываем другой метод, объявляем его неподходящим.

В.Д.: В итоге, как в случае с этой несчастной генетикой, на долгие годы мы отказываемся от еще одного взгляда. И примеры такие были не только в биологии.

В.П.: Тогда критерий успешности заключается в том, насколько ты смог закабалить всех остальных.

М.И.: Лысенко тогда был гениальный.

В.П.: Ну и Павлов.

О непосредственном знании

И.Ф. Это интересно продолжает сюжет со знанием как запретом, ограничением. Если мы тогда вернемся к вопросу о примитивах, то можно подумать о каких то фундаментальных ограничениях. И что получается? Вероятно, первое ограничение – это разделение на субъект и объект. Ведь фундаментальный запрет состоит в том, чтобы запретить себе обращать внимание на отсутствие такого разделения. Или не обращать внимания на то, что это разделение – это нечто, что мы сами производим. И тогда возникает знание – когда проблематизируется эта нами самими созданная граница между субъектом и объектом. И когда есть граница – появляются и какие-то каналы между субъектом и объектом. Каналы, через которые субъект познает объект и его конструирует. И какими конкретными способами это конструирование происходит – это как раз и есть вопрос о сенсориумах и органах. Какие у нас есть фундаментальные каналы и способы связывать субъект и объект, которые мы сначала разделили?

М.И. Ванечка, меня тут знаете что настораживает? Что мы берем очень позднее, на самом деле, различие на субъекты и объекты, потому что исходно «примитивные люди» воспринимают мир как такой же субъект. Так сказать, дерево там – такой же субъект. И где переход от объекта к субъекту? Если я – такое же дерево. Ну и так далее.

И.Ф. Да, соглашусь. Но это как раз та ситуация, в которой это фундаментальное разделение-ограничение еще только нарождается. Субъекта и объекта еще нет, но есть уже что-то Другое, пусть и похожее на меня, – такое, которому я могу сопереживать. Граница уже появляется, но она еще очень проницаема. Уже нет полного слияния с окружающим миром, но еще очень сильно эмпатическое ему сопереживание, которое, наверное, и можно считать первичным непосредственным каналом знания, который предшествует развитию других органов и делает их возможными.

У нас один из вопросов к дискуссии был, кстати, как раз про это. Он был навеян вашими, Виктор Федорович, рассуждениями про то, что помимо опосредованного языка канала мировосприятия у человека существует также канал (или каналы) прямого, непосредственного знания. Вы как раз писали про горизонтальный канал – эмпатию и вертикальный канал – интуицию.

В.П. В медитации, например, мы снимаем субъектно-объектную позицию. То есть мы интегрируемся с миром. Тогда уже не от субъекта. Ты можешь побыть каплей росы на листочке.

И.Ф. Да, в расширенных состояниях сознания усиливается и способность к сопереживанию. Так может быть, это и есть основание наших познавательных способностей? Эмпатия, как фундаментальная познавательная способность, как способность увидеть другого через себя и себя в другом.

В.П. Это канал...

И.Ф. Канал для «мягкого языка»?

И.Ф. Это канал передачи состояний.

И.Ф. Кстати, на мой взгляд, здесь очень трудно не использовать понятия, не связанные с языком. Но в то же время, мне кажется, самое интересное в этом разговоре: а что есть *до* языка?

В.А. А язык – это все-таки то, где есть расчленение. То есть язык – это жесткое.

В.П. Да, даже «мягкие языки» – это уже достаточно жесткое. Но в иной степени жесткое. Язык музыки, например.

В.Д. Нет, «язык музыки» – это, конечно, метафора, так же как и язык поэзии. Сказать, что там есть система именно языкового свойства, – это большое обобщение. Там есть еще что-то не только языкового характера.

В.П. Но есть еще более глубокий уровень, когда вообще нет выделения субъекта-объекта. Хотя в неглубоких медитативных состояниях все-таки что-то есть. Какие-то образы.

М.И. Вить, расскажи о состояниях? Они более простые? Или это что-то параллельное? Или, может быть, по-своему более сложное?

В.П. Мне кажется, что это снятие субъектно-объектной оппозиции ведет, так сказать, к полной эмпатии с миром. И ты переживаешь состояние другого человека и т.д. Нет противопоставления «ты объект – я субъект».

И.Ф. Думаю, чтобы понять что-то о фундаментальных свойствах познания и механизмах «сборки» мира, стоит обратить внимание на некоторые духовные традиции. На те, в которых есть развитые созерцательные практики и работа с недвойственными состояниями. В этих традициях довольно развитая система категорий для описания такого рода универсалий. Например, в тибетских учениях. В дзогчене, скажем, ведут речь о трех самопроявляющихся из ясной пустоты потенциальностях. Это – *звук, свет и лучи*. И есть специальные практики, которые позволяют эти потенциальности обнаружить.

М.И. Лучи?

И.Ф. Да. В этой системе лучи и свет – это разное. Свет еще не подразумевает цвета. Цвета из него еще не развиты. Они как раз появляются, когда есть лучи.

В.П. Про эти стадии очень трудно говорить, потому что они не понятийные, как только мы переходим к системе понятий, их описывающих, мы неизбежно уже выходим в другую сферу.

М.И. Да. Мы их разрушаем. Это физический эксперимент, который разрушает объект.

В.П. Но я полагаю, что существуют иные каналы или канал вне, так сказать, языка. Языка разной степени жесткости.

И.Ф. Там непонятно, какой это канал. Если нет ничего, что этот канал соединяет... В общем-то метафора канала тут уже перестает работать. Поскольку исчезает то, что надо соединять.

В.П. Да, канал предусматривает, опять же, образ чего-то, что связывает пространство и время.

И.Ф. Там скорее уже метафора порождения начинает работать. Когда есть пустота, которая порождает из себя мир.

В.П. Это как на одной конференции в Дубне Андрей Кураев «попер» на буддизм, так сказать. Ему не нравится буддизм – что люди, поклоняются пустоте.

М.И. Так пустота – это в чань-буддизме центральное понятие.

В.П. Он никогда не переживал, очевидно, каких-то таких измененных состояний сознания. У него пустота – это пустота.

И.Ф. Уже есть такая традиция перевода – использовать русское слово *пустота*. Может, не самое удачное.

В.П. Но то, что ты чувствуешь под этим термином, – это совершенно не пустота...

И.Ф. Опять же в дзогчене говорится, что у природы ума есть два неделимых аспекта. И пустота – только один из них, а второй – ясность. Вместе эти два термина, мне кажется, более точно работают. Они позволяют передать, что наша истинная природа пуста, но обладает бесконечными возможностями для проявления.

М.И. Пустота, на самом деле, – это очищенность. По-китайски кон. Это слово и так можно перевести, однако и это тоже будет не совсем точный перевод. Я просто имею какое-то отношение к практикам очищения. У меня есть опыт, полученный в шаолиньской школе в Москве. Да и в самом Шаолине я уже трижды побывал. И там, в горах над монастырем, есть пещера, в которой сидел Дамо, основатель чань-буддизма. У нас его обычно дзен-буддизмом называют. По легенде он девять лет сидел в пещере – тоже кон – и в стенку смотрел, чтобы постичь пустоту-кон и добиться очищения. Это потрясающе!

В.П. У меня такой наивный вопрос, когда он сидел, у него взгляд упирался в стенку в течение девяти лет, приобретал он в это время какие-то знания?

М.И. Естественно.

В.П. С моей точки зрения, да. Но это знания совершенно не понятийного рода.

М.И. Не понятийного. Они как раз инструментальны. Отсюда медитация и возникла в чаньской традиции. Хотя медитация и до этого существовала.

В.П. Она везде, в любых религиях существует.

М.И. Да, да. Это понятно. Однако в чаньской традиции ее попытались довести до предела. Ты после подготовки, настроя занимаешь позу медитирующего и начинаешь как бы поэтапно, шаг за шагом исключать то, на что твое внимание в данный момент падает. Ты чувствуешь, у тебя коленка болит, значит, ты должен так дальше дышать через коленку, чтобы перестать ощущать и боль, и неудобство. Страдание исключается шаг

за шагом, как Будда учил. Потом ты еще что-то исключаешь, и еще, пока не приблизишься к пустоте.

В.П. Есть разные техники вхождения в такие состояния. Но вот самое простое – например, помню, я плясал с кришнаитами часа три-четыре. Повторяю одну мантру.

В.Д. «Харе Кришна»?

В.П. Ну да. Интересно, просто я на себе пережил: если очень долго повторять какую-то мантру, происходит остановка вербального сознания. Вдруг начинается мощный выброс каких-то образов. Совершенно другой тип медитации – зикр или когда молящиеся иудеи раскачиваются. Ритмические движения и со сменой дыхания – тоже входишь в трансовое состояние. В любом случае происходит остановка вербального сознания. Потом – мощный выброс образов.

В.Д. Это галлюцинации? Или как это называется?

В.П. Что?

В.Д. Эти выбросы.

В.П. Можно сказать, галлюцинации. Но в галлюцинациях обычно есть какой-то негативный компонент. Это что-то, что у психически больных возникает. А это скорее просто мощные какие-то образы, связанные с твоей культурой. Если ты в исихазме повторяешь иисусову молитву, то у тебя будет что-то связанное с христианством. Если ты буддийские какие-то медитативные практики делаешь – Будду увидишь, и т.д.

В.Д. То есть остаешься в том же регистре. Не выходишь. Не так, что ты, допустим, молчишь и думаешь о Христе, а при этом выскакивают буддийские образы. Или может быть?

В.П. Я такого не наблюдал. Я говорю про то, что я сам наблюдал. Еще более глубокая медитация, в которой у меня мало опыта, связана уже с непредметными какими-то состояниями. Наверное, великие святые выходили туда.

В.Д. Ты туда не ходил?

В.П. Может быть, чуть-чуть приближался. Но, мне кажется, что касается языка, когда идет блокирование вербального сознания, начинается какая-то образная сфера, а еще глубже – это чисто какое-то целостностное состояние интегрированности в мир.

В.А. То есть это погружение с каких-то верхних слоев сознания все глубже, глубже, глубже, глубже уход туда.

В.П. Да. Туда, и со снятием субъектности.

В.А. То есть это эволюция наоборот. Прделанное эволюцией мы как бы элиминируем и движемся назад, в противоположном направлении.

В.П. Я бы так не считал. Тогда получается примитивные организмы, они целостностные, и мы движемся к ним. Не знаю.

В.А. Если представить сознание слоями, то, можно сказать, мы снижаем верхние слои, идем в нижние.

М.И. Володь, это не совсем так. Безусловно, здесь постоянно идет игра с какими-то очень простыми навыками и способностями. Базовыми. «Простыми» – не в смысле «примитивными».

В.А. А в смысле?

М.И. Основными. Но они тоже разные. Они тоже дают разные эффекты. Вот я практикую еще в другой школе, в даосской. Там мы тоже занимаемся медитацией. Там в чем-то еще интереснее, но там это целая гирлянда, целая последовательность разных ухищрений. Но вот одно из них связано просто с дыханием. Ты контролируешь свое дыхание, только по-разному. Одно из них связано вот с какой вещью, о которой Ваня говорил, на счет субъектов и объектов. Ты там должен дышать таким образом, что когда ты делаешь выдох, ты говоришь, что вселенная делает вдох. И наоборот. Ты вдыхаешь и говоришь – вселенная выдыхает. То есть ты становишься как бы неким дополнением вселенной, она дышит насосом, а ты делаешь ровно противоположное в своем дыхании.

В.П. И вот ответ на реплику Владимира о том, что эти техники снятия слов как бы оказываются регрессом. А я скорее интерпретировал бы так, что с помощью снятия этих слов, обусловленных культурой и т.д., мы не регрессируем, а скорее интегрируемся с космическим сознанием, с более высокими уровнями, которые нами еще очень плохо отрефлексированы, изучены, но которые мы интуитивно чувствуем; и на их базе возникают разные религии. Но ощущение чего-то трансцендентального присуще человеческой природе.

В.А. Оно присуще, но ей ведь присуща и логико-вербальная, так сказать, форма. Почему мы ее стремимся снять? То есть она мешает, как мы здесь выясняли?

В.П. Она очень ценна для осознания, но она расчленяет мир на какие-то фрагменты, которые мы интерпретируем как предметы, и т.д.

И.Ф. Для меня это вопрос о том, где появляется наш ум. Чтобы понять, откуда он появляется, мы должны прийти на тот уровень, где его еще нет. Именно для этого мы должны сначала от него оторваться.

В.А. Да. Отсюда, возможно, получается, что есть два направления движения. В эволюционную глубину – вниз и вверх – на те уровни, которые угадываются, но находятся пока для нас за пределами...

М.И. Володя, ну погоди. Почему ты хочешь обрезать, чтобы все было по одной линейке выстроено? Оно же может быть замкнуто. Ты идешь, идешь, идешь и возвращаешься. Идешь, идешь, идешь, возвращаешься.

И.Ф. Кстати, в копилку практик, которые имеют отношение к нашему разговору. Есть в тибетских созерцательных традициях такая практика, связанная с сенсорной деривацией. Темный ретрит это называют. Когда человека запирают в темном помещении со звукоизоляцией и он наблюдает, как из пустоты и ясности ума возникает мир. Но сначала мы

должны все отрубить, тогда мы можем увидеть, как это все возникает, – как раз как звук, свет и лучи.

В.П. Вот, кстати, одна из практик динамической медитации. Человек в течение недели, двух недель непрерывно с утра до вечера ходит по ограниченному пространству, садику, рефлексирюя. То есть фиксирует внимание на том, как он поднимает ногу, переносит центр тяжести, вдыхает, выдыхает и т.д. И так изо дня в день. Идет колоссальное сужение сознания.

Одному человеку, австралийцу во время такой практики позвонили с просьбой срочно принять решение. Жутко болезненное было опять расширение – вспомнить про мир и т.д. Кстати, там начинает жутко чесаться тело: когда сознание сужено, пороги восприятия понижаются, и ты, например, уже чувствуешь движение одежды, трущейся о волосы на коже. В общем, множество неприятных переживаний, которые связаны с сверхвысокой чувствительностью. А потом вдруг через некоторое время, индивидуально у каждого, идет прорыв в образную сферу. И человек, как в кино, видит какие-то сюжеты. Из глубин, с глубоким моральным содержанием. Притчи фактически. То есть через сужение сознания у тебя открывается доступ к какой-то картине мира, более ориентированной не на суету этого мира, а на какие-то ценностные вопросы. Дальше я не знаю.

Ограничения и возможности

М.И. Понятно. Вот смотри, ты добиваешься того, что ты осуществляешь ограничения, все время ограничиваешь, ограничиваешь. Вот мы только что говорили про ограничение возможности. И в результате в какой-то момент, когда ты достигаешь некоего предела, эти ограничения становятся для тебя уже такими устойчивыми, что возможность открывается. И ты начинаешь видеть притчи и т.д. В результате того, то все лишнее было удалено. И что-то открылось. В этом трюк, как ограничения могут породить возможности. Методологически это очень ценно. Все наши возможности, включая познавательные, вытекают из ограничений. Это то, о чем Валера только что говорил, – что каждая дисциплина, каждый язык, что угодно, – это набор ограничений. Чем четче эти ограничения, тем...

В.Д. Да. Это был тезис, между прочим, Чомского (или, в более принятой у нас транскрипции, Хомского). Где-то в 1960–1970-е годы он ставил вопрос так: в принципе, любое описание языка не ограничено ничем, вы можете разными способами ограничить описание всех правильных выражений одного и того же языка. И цель лингвистической теории заключается в том, чтобы ввести дисциплину этого описания, чтобы для каждого конкретного языка можно было выбрать минимальное количество вариантов описания. Потом он, правда, от этого отказался, когда перешел к программе минимализма. Во всяком случае, вопрос этот был снят. Но вообще это он заимствовал из современных ему теорий познания, главная цель

которых – найти фильтры для теорий, объясняющих факты, чтобы было минимальное количество описаний. И, грубо говоря, чем удачнее это происходит, тем лучше для этой теории. Иначе говоря: количественная оценка теории состоит в установлении того, какое число альтернатив возникает по ходу описания того или иного явления с помощью метода, на этой теории основанного.

М.И. Вот, Валера, ты прекрасно все описал. Спасибо тебе за это. Надо будет еще проговорить. Это пример того, что мы хотим сделать с методом. То есть мы хотим взять некий метод, условно говоря, лингвистическую морфологию, морфологию биологическую, геологическую и т.д. А дальше попытаться их критически описать и очистить от частностей, напирать от предметных и контекстных.

В.Д. Ограничить.

М.И. Максимально, максимально экономно. Похоже на Хомского?

В.Д. Потом этот проект закрылся, вопрос был снят с повестки, к сожалению или к счастью, не знаю. Но это не значит, что к этой идее нельзя вернуться. Просто интересы были потом обращены на другое.

М.И. А почему? Значит, был изъян?

В.Д. Нет, появились более увлекательные области. Такой квалификативный подход к изменению адекватности теории интересен. Но, кстати сказать, никто не запрещает задать следующий вопрос: а почему вы думаете, что наличие большого количества теорий одного и того же предмета плохо? Обычно считают так: множество теорий может быть бесконечным, но оно счетно («перечислимо», в соответствии с некоторым алгоритмом), а не континуально, поскольку эти теории создаются человеком. Но после Чомского в 80-е годы Джеймс Мак-Коли поставил такой вопрос: с какой стати вы считаете, что множество лингвистических теорий одного и того же предмета конечно или даже счетно? Оно может быть и континуальным. В общем, этот вопрос так и завис. Но это была эпоха, опять-таки, когда от теоретического подъема 60-х, 70-х и начала 80-х годов перешли опять к накоплению эмпирических данных. Тогда же появились огромные возможности по накоплению данных. И при всем спортивном интересе, в хорошем смысле, к накоплению данных были быстро исчерпаны возможности существующих методов даже для обработки данных. Вот где мы сейчас находимся. Еле-еле добрали до возобновления методологического интереса. Мы в самом деле не знаем, а надо ли дальше множить количество этих самых эмпирических материалов. Конечно, нужно, чтобы это не пропало, но что с этим делать? Не исключено, что накопленное не будет востребованным. Роберт Бернс сказал про обладателя прекрасной библиотеки: «Так свнух знает свое гарем, не зная наслаждений» (пер. С.Я. Маршака); так и мы. Мы накопили огромное количество книг, которые мы даже, может, не сможем пролистать.

В.П. Я просто восхищаюсь Бернсом. Вот чтобы такую фразу породить, да.

В.А. Ну это поэзия.

В.Д. Да, ни одно стадо обезьян случайно не сможет повторить это, шмякая по клавиатуре. Да, так, может быть, и здесь получится. Чтобы хотя бы получить удовольствие, нужно сделать количество объектов конечным. Бесконечность доставляет не то же удовольствие, что конечность.

М.И. Ребята, я должен сказать, что получил огромное удовольствие от общения сегодня. Нашего конечного общения. Я столько всяких замечательных удовольствий испытал – интеллектуальных и не только интеллектуальных... состояний. Какие-то вещи, которые или были мне непонятны, или я о них никогда не задумывался. Они как-то увиделись, услышались, ощутились, состоялись...

В.П. Вот насчет состояний – буквально два слова. Мой приятель остеопат лечит людей. Нормальный остеопат, знает, куда нажать. Он чувствует, когда начинается поток откуда-то, и он переносит свое состояние на пациента. Другой мой друг – гипнотизер – у меня писал диплом, а потом кандидатскую. Он читает студентам лекцию, нудит, нудит. Он вообще плохо тексты пишет. Но вдруг – он прекрасно работает с гипнозом. Что-то происходит, звучит прекрасный язык, проявляются прекрасные образы.

В.Д. Накатило.

В.П. ...к чему-то подключился. У китайцев человек не подписывает нарисованную картину, полагая, что произведение искусства выше творца. То есть не ты создал, а кто-то иной. Это феномены подключения к другому уровню, более высокому. Они очень плохо и осмыслены, и описаны. Это совершенно какой-то иной канал и познания, и обучения.

М.И. Мы никакие идеи компрометировать не собираемся. В лучшем случае хотим критически проверять. Давайте этот разговор продолжим в ходе новых встреч и в ежегоднике МЕТОД.